

Виктор Балдоржиев

---

# *Августовская проза*

---

Рассказы и очерки 2018 года



Виктор Балдоржиев

**Августовская проза.  
Рассказы и очерки 2018 года**

«Издательские решения»

**Балдоржиев В.**

Августовская проза. Рассказы и очерки 2018 года /  
В. Балдоржиев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-933690-3

Стали спрашивать: «Почему писательская организация Забайкальского края не приглашает вас на санкционированные выступления перед читателями региона, которые считает необходимым большинство писателей?» Ответ может быть только один. Наконец-то я избавлен от необходимости вранья. Жизнь приобрела смысл, а потому каждый месяц выпускаю книгу.

ISBN 978-5-44-933690-3

© Балдоржиев В.  
© Издательские решения

## Содержание

Встреча	6
Повстанцы	10
В домзаке	14
Время и фриланс	19
Три момента в моей судьбе	20
Конец ознакомительного фрагмента.	23

# Августовская проза Рассказы и очерки 2018 года

**Виктор Балдоржиев**

© Виктор Балдоржиев, 2018

ISBN 978-5-4493-3690-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

*На обложке: В окрестностях Нерчинского Завода.*

*Фото П. Бондарева*

## **Рассказы**

Стали спрашивать:

– Почему писательская организация Забайкальского края не приглашает Вас на санкционированные выступления перед читателями региона, которые считает обязательным большинство писателей?

Ответ может быть только один:

– Наконец-то, я избавлен от необходимости врать. Жизнь приобрела смысл, а потому каждый месяц выпускаю книгу.

## Встреча

– Вот был бы сейчас Илюха!

– Когда Илюха работал, то полдеревни не могло разогнуться, пока он не соизволит выпрямиться.

– Мироед твой Илюха!

– Тебя что ли объел?

– Да он всех объел!

– Так ты же не работал у Илюхи, и я не работал, и Коляха, и Ванька не работали. Да тут весь обоз не работал у него.

Осень отпыхала золотом и багрянцем, реки ещё не сковало льдом. Чувствуется – вот-вот ударят морозы. Самое время сдачи наработанного крестьянством государству, то есть Родине. Государство ли Родина? Никто не спросил и никто не ответил на этот вопрос.

Обоз идёт от самого Нерчинского Завода, что недалеко от китайской границы, до самого Сретенска.

Мужики в обозе почти из всех уездных деревень, которые разбросаны вдоль извилистых берегов Аргуни, дальше начинается Китай. На той стороне деревень мало, они чуть дальше, в глубине, за сопками. Совсем недавно русские и пахали, и сеяли на китайской стороне. Не возбранялось. Видимо, была договорённость между государствами. А теперь – глухо, граница закрыта. Иногда слышны с той стороны русские песни и переливы гармошки. Это веселятся и тоскуют беляки, как сейчас называют справных казаков и мужиков на этой стороне, где обитают только – красные или голытьба, добившиеся своего и собирающаяся в артели и колхозы. Население – сплошь русское с редкой примесью обрусевших китайцев, бурят, ороchon.

Казачье сословие упразднено, теперь все – колхозники.

Вот снова собрали по заданию уездного комитета партии на сдачу обоз зерна. Кто-то из местных художников плакат сварганил – по красной материи разведенным белым зубным порошком: «Хлеб Аргуни – Родине!». Где находится эта самая Родина и почему ей надо сдавать последнее? Почему Родина не на Аргуни? Никто не знает об этом...

Илюха – это Илья Ермолаевич Коноплёв, низкорослый, крепко сбитый, но согнутый работой, немного брацковатый, то есть скуластый, с примесью бурятской крови, казак из Булдуруя, который уходит своими избами чуть ли не на острова Аргуни.

Коноплёв считался самым зажиточным казаком посёлка, где и фамилий-то набиралось от пяти до шести, если не считать редких и залётных. Такими могли быть учитель, священник, приютившийся приискатель. Но их – единицы, а большая часть казачьего посёлка – Коноплёвы, Дементьевы, Балябины, Макаровы, Кмитовы, Голятины, породнившиеся чуть ли не со всеми аргунскими фамилиями.

Коноплёвых в Булдуруе всегда больше остальных. Естественно, все они родственники или считаются родственниками. Самый большой дом, двухэтажный амбар, сенокосилки, грабли, плуги, жнейки – все от фирмы McCORMICK – принадлежат Коноплёву. Так и поля Ильи Ермолаевича немереные – от сопки до сопки, а животину он и не считает. Осенью загонят пастухи овец в котловину и обсуждают с Коноплёвым примерную, на глазок, численность, которую вычисляют по давним валунам вдоль кромки котловины. Год на год не приходится, бывают жуткие зимы: тысячами скотина дохнет, а бывает и прибавляется десятками тысяч. И урожайность на полях такая же.

Сам Коноплёв вечно в заботах и расчётах, всегда угрюмый и недовольный всеми и всем.

– Вот был бы сейчас Илюха, он бы непременно взял в дорогу несколько баран. На каждом привале резали бы. А то уже вторые сутки на пустой желудок трясемься, – начинает во время чаепития с чёрными сухарями пожилой и щедушный мужик.

– А кто на него написал?

– Так свои и написали?

– Из Коноплёвых?

– И Коноплёвы голосовали. Ты что, на собрании не был?

– Да все голосовали.

В обозе половина мужиков из Булдуруя. Вот и вспоминают Коноплёва. Каждому из них пришлось соприкоснуться с Ильей Ермолаевичем в той, ещё нормальной, жизни, когда не делились на красных и белых.

Несмотря на свою угрюмость и вечное недовольство, Коноплёв слыл на удивление щедрым человеком. Все знали, что прокорм любого живого существа он считал делом обыкновенным и природным. Грехом же считал лень человеческую. Не понимал человека, бегущего при всякой возможности от работы.

Весь обоз – сорок подвод – собран из бывшего хозяйства Коноплёва. И телеги его, и упряжь, и кони. Главное дело – урожай тоже собран с полей Илюхи.

Разговоры эти происходят во время редких остановок, привалов или ночёвок. Из Нерчинского Завода до Сретенска – триста вёрст. Большое расстояние для гружённого хлебом обоза с трепыхающимся на ветру плакатом, от которого поначалу шарахались лошади. Потом старший обоза Николай Коноплёв, бедняк из бедняков, шумнул:

– Спрячьте, мужики, на время эту тряпку. К Сретенску будем подходить, тогда и покажем.

В гражданскую неразбериху аргунские мужики воевали и за белых, и за красных. Отчётливо сказать о ком-нибудь, что он весь белый или красный трудно. Таких вояк можно по пальцам пересчитать. Сам Илюха Коноплёв служил у белых только по призыву, а через три месяца как-то незаметно оказался на своей заимке, на той стороне Аргуни. Говорили, что подкупил кого-то в белой войске. И отсиделся за границей, и хозяйство своё там же увеличил.

А когда жизнь немного успокоилась, перегнал табуны и гурты, стада и отары на свою сторону. И снова полдеревни сгибалась и разгибалась вместе с Ильёй Ермолаевичем, хотя сам он никого и никогда не неволил, ведь у него было шестеро сыновей и две дочери, которые работали с утра до ночи. А народ просто приноравливался к режиму Коноплёва. Так и повелось...

Снова взбаламутилась жизнь, когда начали приезжать из городов всякие комиссары и уполномоченные, организовывавшие артели и колхозы. Раньше делились на беляков и красных, то есть – на плохих и хороших. Многих перестреляли, изрубили, кого-то отправили в лагеря, кто-то ушёл за границу. Теперь людей делили на кулаков и бедноту, и снова получались плохие и хорошие. Появились комбеды – комитеты бедноты. После этого организовали какой-то ТОЗ, ставший артелью, который через год объявился колхозом имени Климента Ворошилова.

Илья Ермолаевич Коноплёв никаким образом не мог попасть ни в ТОЗ, ни в артель, ни в колхоз, хотя он и давал какие-то советы новым хозяевам, но его уже никто не слушал. Естественно, что он попал в число злейших кулаков, то есть – в список плохих людей, хотя и не воевал против советской власти, а земляки подтвердили, что он бежал из армии атамана Семёнова. Но за границу, как многие его земляки, Коноплёв со своим добром не ушёл.

Несколько раз новые власти пытались измерить поля и скотину, узнать число наёмных батраков Коноплёва. Но всегда получалось, что в хозяйстве работают сам Коноплёв, его жена, шестеро сыновей, две дочери, иногда им помогают братья и племянники Коноплёва. И весь посёлок доподлинно знал, что это именно так.

Июньским днём, как раз после посевной, нагрянули в посёлок комиссары в кожаных тужурках и уполномоченные в длинных шинелях, все в островерхих будёновках. Целый день считали и писали бумаги вместе с комбедом, а вечером устроили сход. И постановили всем сходом – реквизировать в пользу бедноты и колхоза имени Ворошилова имущество пятерых земляков, главным из которых числился Илья Коноплёв. Следующим пунктом постановления схода было – выселение этих пятерых земляков, вошедших в число плохих людей. И тут большинство, то есть правильные и хорошие люди, согласилось с уполномоченными и комбедом.

Выселяли семьи на их же подводах в сопровождении красноармейцев, которым почему-то было приказано примкнуть к винтовкам штыки.

– Никто на Илюху не гнул спину, а за выселение проголосовали все, – заметил во время ночёвки Иван Голятин, устраиваясь возле своей подводы на потнике. – Угрюмый был мужик, как ночь, но и работал, как сумасшедший.

Подводы, как и привыкли, обозники поставили вокруг, в центре полыхал огромный костёр. Застреноженных коней пасли по очереди. Мелькают тени и слышатся голоса. Ночь звёздная и лунная, до самого горизонта видны нескончаемые сопки и горы, покрытые тайгой.

– Далеко сейчас Илюха, в тайге, поди! Спокойней без него стало в деревне, – ответил кто-то из темноты, от другой телеги.

– Да ты и без Илюхи лодырничал, – рассмеялся Иван Голятин.

Рано утром обоз снова заскрипел всеми втулками, зазвенел упряжью и двинулся в путь...

В Сретенске, на площади у станции, где грузили хлеб в красно-коричневые вагоны, сгрудились в очередь и почти смешались подводы нескольких обозов, а это более сотни телег. Над площадью стоял морозный пар от дыхания множества коней и людей, который клубился и смешивался с паровозным дымом. Сливались запахи железа и угля, хлеба и упряжи.

Сразу за площадью начинались красивые каменные дома, говорили, что половина из них принадлежит евреям. Из дверей некоторых домов несло аппетитными запахами кухни, иногда оттуда вываливались пьяные армяки и полушубки, подпоясанные кушаками. Там были трактиры.

Аргунцы поначалу растерялись и оробели, но по привычке, разобрались с очередью и покорно ждали погрузки, поглядывая в сторону трактиров.

Неожиданно они разом услышали голос Ивана Голятина:

– Мужики, гляди! Никак Илюха Коноплёв!

Илья Ермолаевич Коноплёв, как и в былые годы, в овчинном полушубке, монгольском малахае и унтах, шёл вдоль обоза, проверял упряжь, телеги, лошадей. Осматривал лошадь с бабок до ушей, заметив потёртость на груди или туго затянутый чересседельник, недовольно качал головой, поправлял. Вид у него был озабоченный и удручённый.

Аргунцы обомлели. Они же выселили Коноплёва летом, а сейчас поздняя осень. И вот он, собственной персоной, осматривает своих коней и телеги.

– Колька! – Крикнул он громко Николаю Коноплёву, который приходился ему троюродным братом. – Поставь у телег троих помоложе, а остальных – в трактир. Приглашаю.

– Ты это... как... Как ты оказался здесь? – заикаясь, спросил кто-то из мужиков, когда обозники заняли все лавки и столы ближнего трактира.

Все чувствовали себя скованно и неловко. Стыдились что ли?

– Ты ли это... Илюха?

– Говорили же... у Енисея...

– Илюха, здорово, братан.

– Садись, садись, земляки. Всех угошаю. – Коноплёв суетился, как и в былые годы, когда собирались вместе все его сыновья, работники, пастухи, а то и просто земляки. Вечно недовольное лицо Илюхи теперь было приветливым и добродушным как никогда до этого случая.

– Разбогател что ли на Енисее-то?

– Ладно, слушайте. – Прервал гомон весёлым голосом Коноплёв. – Привезли нас в леспромхоз под Красноярском. Много народа. Леспромхоз – пустое место в тайге, несколько барачков, избы, склады, ничем не огорожено. Но вохры много. Люди жалуются: голодно, холодно. Лес валим. Конечно, никому нелегко. Но ничего, жить можно и работать надо. Ничего! Ведь я дома вчистую уработался и семью свою уработал! А на поселении через месяц и вовсе моей семье послабление вышло: построил всех мужиков начальник, чернявый, видимо, еврей, и приказывает выйти из строя всем кто имел больше тысячи голов скота. А у меня только записано – десять тысяч, а сколько раздал и не помню. Да вы и сами знаете. Умный оказался начальник: посчитал у всех пашни, скотину и говорит, перед строем говорит: «У дураков таких хозяйств быть не может!». Больше всех было записано у меня, так у нас и земли тут немерено. В общем, назначили меня завхозом. Поселили всю семью в отдельном от всех доме, мебель дали, постель... Знаете, что, мужики, я там, может быть, в первый раз почувствовал, что такое жить по-человечески.

– Вот это да! – Крикнул кто-то из земляков, уже опьяневший от еды и густых, парных, запахов трактира.

– Конечно, повезло! – Рассмеялся Коноплёв. – Понял я, что замучил работой на скотину всю свою семью, жену, сыновей, дочерей. Себя замучил! Мои, может быть, впервые за всю жизнь отдыхают. А недавно начальник вызывает меня и приказывает отправляться на закупку хлеба и картофеля для какого-то лагеря. Где в это время сдача? У нас. Вот я и отправился в Сретенск.

– И не жалко тебе, Илюха, добра своего?

– Ни на сколечко! – Воскликнул помолодевший лицом и повеселевший взглядом Коноплев. – Баба иногда вспомнит Пеструху-ведерницу, да взгрустнёт, ведь по ведру молока с каждого удою давала корова. Молодость жалко, годы прошедшие жаль...

– А на нас не обижаешься?

– Ни на сколечко! Только жалко мне вас, земляки. Себя жалко и вас...

*4 августа 2018 года.*

## Повстанцы

Сейчас же на дворе 1990 год? Тебе сколько лет, журналист? Тридцать шесть? Молодой совсем. А мне девяносто. Всегда пишут: ровесник века, один из первых командиров ЧОН Василий Иванович Макаров.

В президиумах устал сидеть. Одно и то же рассказывать устал...

Крестьянские восстания 1930-х говоришь? Были восстания. Шестьдесят лет прошло, а помню каждую мелочь. Ты не думай, что старость – это большой ум. Хорошо, если память осталась, а у меня она ещё есть.

Что меня мучает? Мучает? Погоди, погоди, парень... Много мучает... Ничего же не понимали тогда, да и сейчас мало что понимаем. Почему после 1917 года брат на брата пошёл или сосед соседа стал душить? Конечно, наши люди во все времена недолюбливали друг друга, особенно, когда один мужик умней и проворней другого. А если кто-нибудь из своих разбогател – тот вообще пожизненный враг. Подлец в глазах народа. А почему? Кто ответит? Но чтобы вот так, в открытую убивать друг друга, как в гражданскую... Боже мой! Что меня мучает?

Стравили, конечно, нас, после большой войны, как собак. На неразумности нашей вековой сыграли. Нечеловеческой подлостью надо обладать, чтобы вот так людей стравить. А после такого, как не быть восстаниям? Повсюду народ восставал. Не хотел нового. Тебе этого не понять, парень.

В гражданской все участвовали. А как её минуешь? Потом те, кто побогаче и побойчей в Китай ушли через Аргунь, остались здесь мы – одни бедняки и голодранцы, лодыри и разбойники. Добились своей правды. Но казачества не стало. Упразднили сословие. Ведь мы всем миром и всю жизнь границу охраняли, с китайцами свободно общались и дружили. А тут отодвинули: не ваше дело, говорят, другие войска есть для этого, ГПУ называется. Закрыли границу наглухо. Теперь мы отсюда поглядываем туда, за реку, где на своих старых заимках наши зажиточные казаки поселились, новые деревни построили. И опять лучше нас, голытьбы, живут.

Но и среди нас стали расти зажиточные. Они всегда будут появляться, такова жизнь, одинаковых поросят не бывает...

Когда начали артели и колхозы организовывать, половина народа взбунтовалась. В каждой избе винтовка да шашка. Сколько мужиков столько винтовок и шашек, у некоторых – пулемёты. Максим Беломестнов, тот кругом вооружился: все знали, что у него под старым зародом орудие стоит наготове. Были красными – стали повстанцами, в тайгу снова отправились, там ещё много землянок сохранилось.

Меня командиром ЧОН после гражданской назначили. Что это такое? Части особого назначения, а на самом деле – ничего особого. Витька Потехин, Колька Зубарев, четыре брата Вершининых, Фрол Каргин со старшим сыном. С Нижней и Верхней улиц ребята и я, Васька Макаров. Все наши, Марьинские. Марьино – так называлась наша деревня. Говорят, что Марья какая-то с двумя сыновьями тут в старину поселилась. Вдова или от мужа-живодёра сбежала. Сошлась здесь с каким-то тунгусом и дала поросль беспокойной нашей братве.

Многие в начале 1930-х годов бунтовали. Резали скот, уходили за границу, в тайгу. Каждый на свою задницу приключение искал. И находил ведь! Вот и некоторые из наших, марьинских, мужиков не пожелали обобществлять своё добро. Тоже ушли в тайгу. Соху туда не потащишь, только винтовку. Листовки крамольные гуляли по уезду.

Кино «Операция «Трест» видел? Кажется, далеко от нас, но оттуда к нам ниточка тянется. Сидней Рейли нам ни к чему. Его бы тут сразу раскусили. Фактура не та! Не наш человек. А вот Тойво Вякя, который на всю жизнь от имени и национальности отказался и даже на свои похороны согласился, был для нас Иваном Михайловичем Петровым. Наш человек. Думаю, что даже жена не знала настоящего имени своего мужа, а мы, простодыры, и подавно не могли знать. Это сейчас что-то вроде правды в книгах написали. А тогда...

Так вот: Иван Михайлович служил в комендатуре нашего отряда. Большой участок на границе охранял пограничный отряд.

Вызывает меня в апреле 1931 Петров в штаб и говорит.

– Вашему бывшему отряду, товарищ Макаров, поручено разоружить и доставить в комендатуру повстанцев из Марьино. По агентурным сведениям они находятся недалеко от горы Убиенная, база их в старых землянках за Уровом. Командир ты, Василий Иванович, боевой, справишься.

И обстоятельно показывает на карте расположение наших повстанцев. Точно измерил расстояние и маршрут передвижения моих чоновцев. Значит, знающий осведомитель донёс. Сам Петров – молодой и обаятельный русский человек. Весь ремнями перекрещенный, как в старые времена. Только без погон. Внушал доверие. И сам, наверное, верил тому, что говорил. Разведчик! Такого не боятся, но уважают. Боятся прокажённых, запомни, журналист...

Неразумные, сказал Петров, элементы, поддались на провокации беляков, что за границей, напротив наших станиц и посёлков обосновались. Знал Петров обстановку. А по нашим посёлкам и станицам слухи разные гуляют: ОГПУ под целую повстанческую армию копает, Рокоссовский снова в Сретенске, опять большая междоусобная война затевается. Где граница, там все на прицеле. Куда деваться? Надо идти. Ловить своих мужиков. Мы же местный народ, нам карты без надобностей, расстояния известны.

Из моих только Фрол Каргин не подчинился. Не пойду, говорит, против своих воевать, навоевался, сына младшего в гражданскую потерял. Пожилой уже был мужик. А старший его сын, Федька, не послушал отца, моему приказу подчинился. В общем, собралось нас пятнадцать человек. Обсудили положение, повстанцев посчитали: вышло, что их должно быть не меньше двадцати вояк. Почти все нам родственниками приходятся. Не будем же стреляться. Уговорим, наверное.

Помню, середина апреля была. Реки только шевельнулись, лёд весь в ноздрях. Сырая погодка, грязь весенняя. И дымом отовсюду несёт. Поди, улови: кто и где костерок развёл?

Оружия тогда у народа много было, а вот с едой плоховато. Оголодали, думаем, наши повстанцы. Без хлеба русскому человеку туго. Должны сдаться. Идём вдоль берега Урова, посмеиваемся, переговариваемся. Заросли повсюду буйные. Верба, черёмуха, ивняки, осинники и березняки попадают. Народа там раньше густо жило, скота дивно держали. Всяким делом занимались. В Мороне глину месили, охру делали, в Алашири – лес готовили, хлеб растили, Джохтанка была богатой деревней. Везде был свой промысел, всюду жили трудяги. Политика всех смутила и согнала с мест.

Природа у нас дивная – Аргунь, Уров, Камара, Быстрая, Суровая, ещё с десятков речек, озёр много. Птица гомонит. Дичь везде. Горы, долины, синеющая вдаль тайга, как развёрнутые меха гармони. Живи и радуйся!

Значит, идём неспешно берегом, слышу, вороны закаркали. С чего бы?

– Васька! – Шепчет мне сзади долговязый Ганька Вершинин. – Никак на той стороне люди в кустах или блазнится мне.

И тут ка-аак бабахнет над нашими головами залп, мужики за мной все попадали в грязь, я стою и озираюсь. А с того берега кричат:

– Ложись, Васька, командир хренов!

Ладно, лёг я в грязюку, передёрнул затвор своей мосинки.

– Кажись, братан мой, – шепчет, подползая, Колька Зубарев. И ругается шёпотом матерно, шинельку свою он в луже намочил. А я зубоскалю: хорошо, что не в штаны.

Снова с того берега кричат:

– Чего в грязи валяться? Сдавайтесь по-доброму, перестреляем же...

Что делать? Сдались мы. Уров в том месте медленный и мелкий, лёд покрошен, камней много. Перебрались по ним под дулами винтовок земляков на тот берег. Окружили нас сразу. Огляделись мы. Все наши, марьинские. Двадцать два человека. Злые и решительные, хоть и родственники нам все. Вливайтесь, говорят, к нам, иначе тут же и порешим.

Теперь и мы стали повстанцами.

Отряд находился недалеко от Гагаркино, была такая деревня. Места скрытные, не сразу найдёшь, а пока доберешься, наделаешь столько шума, что вся живность за несколько вёрст услышит. Толя Зубарев старый партизан, знает как, где скрываться и какая ворона за сколько вёрст прокаркает о чужаках.

Мы боялись, что воевать придётся, но вышло так, что ничего не делаем, охотимся иногда, да травим себя разговорами о жизни, политике, колхозах. Зубарев приказа какого-то ждёт. От кого и когда не говорит. Человек должен условный сигнал подать. Но человека нет, приказа нет, и, как я начинаю догадываться, видимо, не будет. Вороны в округе не каркают.

Случается, мужики ходят в разведку. Вести не радуют, домой зовут. Я начинаю думать, что все сроки доставки приказа Зубареву миновали, а мой Петров, заждавшись, может подмогу вслед за нами отправить. А мы тут скопом.

Недели через три после того, как мы стали повстанцами, собирает всех в кучу Зубарев и показывает листовку. А на ней написано, что Советская власть просит всех неразумных участников мятежа сдаваться, за добровольную сдачу власть гарантирует повстанцам жизнь и, как и полагается у добрых людей, полную неприкосновенность и т. д. и т. п. . . .

И подпись печатными буквами: комендант И. М. Петров.

Большим уважением и доверием пользовался комендант.

Ещё через три дня мужики, ходившие на охоту, снова приносят такие же листовки.

– По всей тайге, видимо, налепили на деревьях! – Гомонят в отряде. – Сдаваться надо, чего тут высиживать. Пахать уже пора.

Думал, думал командир повстанцев Толя Зубарев и спрашивает у меня:

– Как быть, Васюха?

– Сдаваться надо, Толя, – отвечаю я. – Чего тут вшей кормить.

– А не поставят к стенке?

– Пишут же: полная неприкосновенность. Вины, вроде бы, ни на ком нет. Никаких приказов вам уже не будет. Ты об этом и сам давно догадался.

– Тогда так: пусть твои разоружают моих и ведут в комендатуру. Вроде бы мы добровольно сдались. А вы и не были с нами. Задание выполняли. Всем своим накажи: в Алашири жили и выслеживали. Там двое наших сидят.

Хорошее решение. Я тоже так думал. Умная голова у Толи Зубарева.

Май уже повсюду полыхает, реки вскрылись и шумят, птицы на озёрах гомонят, листья на деревьях распустились, бабы подолами крутят. В общем, бурлит жизнь и дурманит своими запахами. Двинулись мы всем своим повстанческим отрядом в обратный путь. Тридцать семь штыков.

Выполнил мой отряд приказ коменданта Петрова, привёл всех марьинских повстанцев, то есть родню свою, в огороженную колючкой комендатуру, что на окраине Большого Завода,

среди молоденьких берёз и осинок. Только вошли во двор, как сразу же попали в окружение незнакомых бойцов. Глядим и кумекаем, батальон гепеушников в полном боевом составе дислоцируется. Эскадроны, видимо, по деревьям разлетелись, бандитов ловят. Обстановка военная, трибуналом попахивает.

Я отправился докладывать о выполнении задания, а наши остались у казармы в окружении красноармейцев. Ждут, когда их распустят по домам.

Оказалось, что Ивана Михайловича перевели на другой участок границы, сразу же после того, как я отправился с отрядом на Уров.

Встретил меня новый командир. Суровый мужик, большой властью. Такого бояться, но не уважают. Знаю, говорит, о вашей группе, давно ждём. Почему вестей не давали? Выслушал он меня, даже похвалил, заставил написать список всех наших повстанцев, а список моего ЧОНа был в комендатуре. Я честно сказал ему, что сдаче повстанцев способствовала листовка, подписанная Иваном Михайловичем. О том, что мы были вместе с нашими, конечно, не стал говорить.

Подозрительно смотрел на меня новый комендант, сетуя, что мой отряд слишком долго выполнял задание, отсиживаясь в Алашири. Потом кликнул дежурного, но меня всё же отпустил. Даже как бы нехотя отпустил. Спиной чувствовал: смотрит в окно.

Не успел я дойти до своих мужиков, как вижу, что чоновцев красноармейцы уже отгеснили от остальных марьянцев. ГПУ охрану взяло.

Домой мы вернулись без земляков.

В общем, увели гепеушники все двадцать два человека. И больше мы наших земляков и родственников никогда не видели. Конечно, их расстреляли. Выходит, что ни один из них нас не сдал. Иначе, всем бы каюк.

Был слух, что Иван Михайлович, узнав об этом случае, чуть не застрелился. Не подписывал он листовку, за него решили. Его арестовывали в 1937 году, но отпустили. Будь он тогда на месте, не случилось бы беды.

Слушай, парень, никому я об этом случае не рассказывал, ни на одном собрании не заикался. Что на меня сегодня нашло? Может быть, смерть близкую чую? Вот рассказал тебе и – легче стало...

## В домзаке

– Это у вас – степи неоглядные, а у нас – лес рядом, сплошь листвяк. Дрова из них знатные, одна охапка таких дров большую избу всю ночь греет. А дома из лиственницы веками стоят, хоть в болотине, хоть на суше... Изба у меня была крепкая, восемь на восемь, вся из литого листвяка. Отец заставлял нас готовить лес в декабре, а потом морить в воде несколько лет. Мне ещё и десяти лет не было, как отец с моими старшими братьями готовили лес для моей будущей избы. Наверное, так и прожил бы я всю жизнь в своей избе, да уклон помешал, – вздохнул и как-то свободно, будто освобождаясь от какой-то тягости, рассмеялся девяностолетний Василий Иванович Макаров, у которого я брал интервью.

За окном ликовало лето 1990 года.

– Что за уклон?

– Сейчас хоть в какую сторону качайся, хоть как думай, ничего тебе не будет. А в наше время за такие баловства запросто расстрелять могли!

– Что за баловства, опять уклоны, Василий Иванович?

– Они, конечно, – снова рассмеялся бодрый старик. – Левый или правый уклоны. Троцкисты и бухаринцы. Центр строго следил за мыслями. Кто уклонился от линии – суд, домзак, расстрел. Меня за правый уклон судили. Но пули избежал, дожил до девяноста лет. Только в домзаке четыре года отбыл, даже в лагерь не отправили. Ровесник века, ровесник века! Уйму газет обо мне исписали, а уж в каких собраниях участвовал и в каких президиумах сидел и посчитать невозможно. А перед ребятишками сколько раз выступал, а всякими знаками и медалями сколько раз меня награждали? Тоже невозможно сосчитать. Весь пиджак увешан и блестит, как в чешуе!

– Так зачем же, Василий Иванович, волноваться? Заслуженный человек, ветеран, борец за советскую власть! Живите и радуйтесь на старости лет...

– Радуйтесь, говоришь? А кто мы на самом деле? Бедолаги мы пожизненные. Растеребил ты меня, парень, своими вопросами. Я ведь не только ЧОНОм командовал, но и первым председателем колхоза меня выбирали. Колхоз у нас назывался именем Ворошилова. Вот что меня удивляет до сих пор: ведь люди живы ещё были, а именами их колхозы, заводы, орудия всякие, улицы городов называли. Был один раз Калинин проездом в нашем городе, говорил что-то минут десять. Но зачем за это улицу его именем называть? Угодили что ли кому-то? Домзак? Так, парень, в годы моей молодости назывался дом заключения, а проще – тюрьма.

Почему в лагерь не отправили? Тут особая история. Можно сказать, по благу так вышло. Блат, как я тебе уже говорил, у нас выше наркома. Мог бы, конечно, как многие мои друзья, тачку на рудниках катать. Уклоны эти, по моим сегодняшним соображениям, как шаг вправо или влево в лагерях. Наверное, выдумка Сталина для балансировки своей политики. Система партийной машины у него была продумана до мелочей.

Жизнь ведь устроена так, что дай только чуть-чуть вздохнуть человеку, как он сразу начнёт умирать и богатеть. Нужен государству умный и богатый человек? Не нужен, ведь он не будет кормить дивизии партийных и беспартийных дармоедов.

В девяносто лет, парень, многое можно осмыслить. А тогда, конечно, я ничего не понимал. Видел просто: у людей не остаётся зерна, зимой начнётся голод, к весне станут умирать. Вот и не сдал половину колхозного урожая государству, велел землякам припрятать. Конечно, кто-то из тех же земляков донёс на меня в органы. Фамилию доносчика знаю, но говорить не буду. Не он, так бы другой донёс. И в этом мы бедолаги: утопить друг друга рады. В общем,

оставил этот человек село без хлеба, а меня арестовали после ноябрьских праздников и увезли в уездный центр.

А ещё я думаю, что удачно вписался в план массовой кулацкой операции органов. Надо понимать, что уклоны, чистки, лагеря, тройки, расстрелы 1920 и 1930-х годов – это всё специальные партийные мероприятия. Так партия работает с массами, перетряхивает их, фильтрует, очищает. Партия – доктор или повар, препарировывает, лечит или готовит блюдо из масс. Ненужное отрезает, нужное внедряет. Зашивает, парит, варит, жарит, гноит в ямах. Готовит до нужной кондиции. Нового человека создаёт. Какие при такой системе могут быть законы?

Их в советской России не было, да и не могло быть. А тогда, в наше время всё решали «тройки». Говоря грамотным языком, это была внесудебная коллегия ОГПУ, потом НКВД.

Как сейчас помню: судили меня двое русских и один жид. Такой я запомнил на всю жизнь свою «тройку». Дали мне четыре года. Сразу в лагеря в те годы почему-то не отправляли. Сначала – в домзак. По-всякому решали дальнейшее отбывание срока. Мутное было время.

Ты видел в Большом Заводе за бывшим горным училищем, чуть дальше и повыше, старинное белое здание из кирпича со множеством небольших окон? Там и располагался в моей молодости домзак, окна в те годы были замурованы, оставили наверху маленькие, зарешеченные пробоинки. Начальником домзак был Стёпка, друг мой.

Говорят, что в царское время там располагался госпиталь каторжников, известный Чернышевский там лечился. У нас же весь край каторжный и состоит из каторжан. И мы с тобой каторжане пожизненные.

Нам ли не чужья жизнь и повадки людей!

Судили меня в здании ниже домзак, в царское время там какая-то контора горного округа была. После суда ведут меня в домзак два милиционера, тоже знакомые мне люди, один из них брат мой троюродный, Кеха Макаров. Иду и думаю: как меня Стёпка, начальник домзак, встретит?

Откуда тебе, парень, знать, что такое партизанская дружба? С Размахниным, то есть Стёпкой, мы с восемнадцатого по двадцать первый годы бок о бок в партизанском отряде воевали, потом нас в народамейцы приняли.

Опять, ничего не понимаешь! Это в России были красноармейцы, потому как там настоящая советская власть, а у нас, сначала, была Российская Восточная окраина, отдельное демократическое государство, образованное атаманом Семёновым в январе 1920 года. Узнав об этом, буквально через три месяца, Ленин, в пику ему, создал Дальневосточную республику. Вроде бы, буфер между большевистской Россией и международным империализмом, что с востока прёт. От Байкала до Тихого океана. Только тогда японцы стали вести переговоры не с атаманом Семёновым, а с ДВР, ведь за ней стояла Россия. В ДВР тоже красный флаг, только в правом верхнем углу – маленькая синенькая заплатка, и войска народные – народамейцы. Красноармейцами мы стали потом, когда ДВР упразднили в 1922 году. Но это длинная история.

Так вот, ведёт меня братуха с другим милиционером по Большому Заводу в домзак, а я о Стёпке думаю. От Алтачи под Крестовкой пар идёт, там ключи бьют, наледи парят. Деревья сплошь в куржаке, а на Крестовке всё ещё крест стоит, не добрались комсомольцы. Мороз трескучий, будто застыл в серой полумгле, знакомые изредка выплывают из этой полумглы. Все в шубах, а некоторые даже в дохах. От бровей и ресниц в куржаке, только глаза удивлённо на меня в полушубке, да милиционеров в шинелях смотрят. Думаю, милиционеров больше жалеют, ведь в шинелях в наши морозы замёрзнуть намертво можно. В те годы на 7 ноября

на Аргуни уже минус 45 лютовало. Прохожие, наверное, гадают: куда Макарова, боевого красного партизана, повели, что он натворил? Ведь меня весь уезд знал! В большом почёте после гражданской войны были бывшие красные партизаны.

Но Стёпки Размахнина в тот день в домзаке не было, говорили, в тайгу уехал, дрова с милиционерами готовить собрался. Бросилась мне в глаза во дворе домзака бесхозяйственность. Нет, значит, хозяйской руки.

Запах в здании стоит военный, каптёркой крепко пахнет, всюду решётки, замки, охрана суется. Вписали меня в документы. Как сейчас помню – 7 камера. В общем, повели меня по длинному коридору, где с обеих сторон двери, окованные железом. А как вступил я в камеру и огляделся в сумраке, так и обомлел, то ли от радости, то ли от удивления: человек пятнадцать смотрят на меня с нар и все знакомые, все друзья по партизанскому житью-бытью. Тут и Пичугин с Каргиным, Кармадонов и Маркедонов, Раменский и Забродин, Золотухин и Беломестнов, Шильников и Мыльников, Уваров и Макаров... Ты не смейся, фамилии такие, они, как песня, в памяти моей. Говорят, что в домзаке человек двести заключенных, больше половины из них – бывшие красные партизаны.

– Да все наши! – Рассказывают мужики, расспрашивая меня о новостях с воли, главное – о семействах своих. Оказывается, они уже третий месяц в этой полумгле вшей кормят.

Тут же кто-то из заключенных, забарабанив в дверь, вызвал конвойного, потом образовался чай, хлеб и сало к нему.

Кто и за что сидит – не понять! Некоторые проявили недовольство коллективизацией, кто-то пытался уйти в Китай, кого-то посадили за контрабанду, а кого-то, как и меня, за правый уклон, то есть укрывательство хлеба и лояльное отношение к враждебным элементам. Гляжу: в камере – лучшие люди уезда, самый цвет, соль земли, как говорится. Народ самостоятельный и смелый. Других таких в уезде нет.

Теперь я понимаю, что власть тогда только причины выдумывала для того, чтобы уконтрапупить самых смелых и непокорных. Массовое мероприятие партия проводила, очищала массы от мыслящего элемента!

Рассказывают, что Стёпка Размахнин ко всем относится хорошо, сам из красных партизан. Но седьмую камеру на прогулку выводят редко.

Дали мне арестантское место на нижних нарах. Проговорили всю ночь с товарищами, а утром конвойные повели меня к Стёпке. Прибыл, говорят, из тайги, где деляны мерил для заготовки дров. Зовёт меня к себе.

Сидел он в узком кабинете, как в камере. Оконце, правда, побольше, чем в камере, узкое и длинное, тоже зарешёченное. Он как был мордастым, брацковатым, мужиком с ловкими ухватками бывалого бойца, так и остался им. Хорошо меня встретил, искренне. Не сочувствовал, знал, что я прав.

После того, как поздоровались, он посадил меня на стул напротив себя. Потом оглянулся, будто высматривал соглядатаев, сказал почти шёпотом, что хватают чуть ли не самых активных красных партизан. Но самых-самых приказано вообще не выпускать и запретить всякое возможное общение с местным населением и конвоем.

Эти самые-самые и находились в седьмой камере.

Вообще, Размахнины по Аргуни и Онону – разветвлённая родовая, семьи большие, бабы плодовые. Стёпка был средний в своём семействе, кроме него ещё шесть братьев и пять сестёр. Теперь и у него – четыре мальчика и одна девочка. Пока. Я же, его ровесник, был всё ещё не женат.

Из сегодняшней дали я вижу, что Степан Степанович Размахнин оказался заложником. Такое прошлое, такая должность и такая семья! Куда деваться? Власть и старалась давать таким

должности, ведь всегда на привязи. Коммунистическая партия – хитрая партия, знает кого и чем привлечь, а кого, как привязать или чьей кровью повязать.

– Слушай, Васька, исполняй-ка ты в нашем домзаке обязанности завхоза. Нет у нас хозяйской руки. А ты хороший председатель, у тебя всё спорится. – Предложил мне неожиданно Размахнин. – Недавно разрядка пришла на должность завхоза в нашем домзаке.

– Как это завхозом, Стёпка? Освобождаешь что ли? – Я даже привстал с табуретки от изумления, смотря на перекрещённого, как и в былые годы, ремнями Размахнина.

– Да вроде того получается. Наказание ты всё равно отбываешь, время идёт. Делом займёшься, может быть, раньше отпустят, похлопочем. – Успокоил меня друг, озабоченно почесывая русый затылок.

Уголовно-исполнительная система советской власти ещё не дошла до совершенств 1937 года. Случалось, что одарённые заключённые возносились на самую верхушку системы. История сохранила такие примеры.

Известие о том, что я буду завхозом домзака, седьмая камера встретила с восторгом. Хозяйство я принял от Размахнина же. Он расписался в акте передачи, вздохнул облегчённо и радостно рассмеялся. Освободился человек!

Спал я теперь в камере, а утром меня выводили на работу, в каптёрке поставили мне стол и стул, вручили амбарные книги, где я делал записи.

Через неделю, в сопровождении брата-милиционера Кехи Макарова, я осмотрел всё обширное хозяйство домзака, от огорода до денников. Дотошный был Кеха, как и все Макаровы, царствие ему небесное, во всё вникал. Составили мы с ним списки семей милиционеров, измерили их дома, сам домзак, все отапливаемые помещения. Вывели квадратные метры, нужное количество дров.

Поленницы в дровянике и дворах уже заканчивались. После всех замеров, начал я снаряжать бригаду для заготовки дров. И составил список, где были все пятнадцать человек из седьмой камеры. Глянул Размахнин на список, потом глянул на меня, покрутил пальцем у виска и – решительно махнул рукой. Дал добро. Был рискованным и остался таким. На меня надеялся.

Уездная милиция реквизировала на время у населения двенадцать саней с лошадьми. Потом я через Кеху шумнул семьям заключённых из седьмой камеры: повидайтесь со своими мужьями, сыновьями и братьями пока есть возможность.

Ночью выпал снег, а утром он, ослепительно-белый, покрывал Большой Завод со всеми его домами и улицами, переходя на ближние сопки. Мужики, когда их вывели на улицу из камеры, чуть не ослепли. Пообвыкнув, повеселели. Все понимали: что цена побега любого из них – жизнь Василия Ивановича Макарова. Вот на что я шёл!

Не успели сани с конвоем выехать за Большой Завод и окунуться в ближние березняки, как мы увидели бегущих со всех сторон по снегу баб и ребятшек с узелками. Это спешили родные заключённых. Предупреждённые конвоиры не препятствовали.

Про встречи, обнимания и бабьи слёзы рассказывать долго...

Проработал я завхозом домзака все четыре года своего срока. Весной начал посевную, летом – сенокос, осенью – уборочная. Работы сезонные, как и в любом хозяйстве. Заключённые всё время менялись, полностью сменилась и седьмая камера. Размахнин хлопотал за меня в разных управлениях и комитетах. Года через два и о правом уклоне стали потихонечку забывать.

Хозяйство домзака становилось на ноги. Появилась своя скотина, свиньи, огороды, конюшня стала образцовой. Потом мы приобрели конные сенокосилки, пилы и прочий инвентарь. В декабре готовили лес для стройки. Через много лет я узнал, что даже Пётр Первый

наказывал готовить строевой лес только в декабре: качество древесины лучше в это время. Заготовленный нами лес даже стали заказывать из других районов и области.

Когда наступило время моего освобождения, Размахнин слёзно просил меня «посидеть» ещё немного: надо было заготовить дрова на домзак и семьям милиционеров.

Пришлось выручать друга и работать в домзаке ещё лишний месяц. А когда я вернулся в свою деревню, то обнаружил, что избу мою разобрали и стопили односельчане. Интересно, скольких людей обогрела моя уютная изба из морёного и векового листвяка? Вообще-то, лес от нас совсем недалеко.

Погоревав на месте своей избы и переночевав у брата, я вернулся обратно в Большой Завод. Остановился у Размахниных. Стёпка посоветовал мне уехать из родных мест, потому что я уже «меченый». К этому времени весь «мой состав» седьмой камеры был расстрелян в разных местах заключения. За неделю мы со Стёпкой подготовили нужные мне документы, и я уехал навсегда в Россию. Одним словом, затерялся.

И правильно сделал. Начинался 1936 год. А в 1937-м арестовали и расстреляли Размахнина. Слово «домзак» со временем исчезло из обихода, вернулось законное слово «тюрьма». С годами арестовывали и заключали людей все меньше и меньше, массовые партийные мероприятия такого рода завершились после войны, в 1950-х годах, с появлением и торжеством нового, советского, человека.

Кого заключать, когда массы давным-давно отфильтрованы властями и войной, самостоятельные и думающие исчезли совсем, а оставшиеся рады любой халяве и любой пайке, лишь бы их считали великими и непобедимыми?

*10 августа 2018 года.*

## Время и фриланс

(Дополненный и переработанный текст. Часть, относящая к примерам, добавлена в августе 2018 года).

Это рассказ о том, как стал и до сего дня работаю фрилансером. На мой взгляд, стать фрилансером, практически невозможно. Им надо родиться. Не у каждого человека с рождением имеется состояние свободного человека. Для одних – это несчастье на всю жизнь, для других – естественное состояние, которое отличает его от остальных. Фрилансер – знак вопроса в толпе восклицательных знаков, становящееся летящим копьё поражающим точно в цель. Это не удел, это – судьба...

## Три момента в моей судьбе

Во-первых, фрилансер – это свободное копьё, наёмный воин и только после этого свободный художник. Такая расстановка акцентов более соответствует профессии и точнее составляет акценты.

Во-вторых, фриланс в моей судьбе – порождение расовых проблем и национальной политики государства, в нашем случае СССР. Тут нет ничего удивительного, это естественные процессы, которые были и всегда будут там, где обитает не вполне развитая часть человечества.

В-третьих, фриланс, видимо, был и стал моей судьбой почти сорок пять лет тому назад.

Для того, чтобы начать цикл «Фриланс и время», предложенный мной сообществу «vr-freelancer», я должен объяснить все перечисленные моменты.

Слово впервые применил Вальтер Скотт в романе «Айвенго». Перевод слова *lancer*, конечно, не художник, тем более не журналист. Это – копьё, воин, рыцарь, кавалерист, улан. Значений много. Свободный и наёмный исполнитель чужих замыслов. В наше время, некоторые фрилансеры – это вообще свободные художники, которые сами предлагают и исполняют замыслы. Во многих случаях они сами предлагают и продают свои тексты.

Таким человеком я и должен был стать с детства. Почему?

Родился и вырос я в русско-украинской среде, по национальности – бурят-монгол. Не бурят, а именно бурят-монгол, ибо в 1954 году, когда я родился, была ещё Бурят-Монголия, просто Бурятией республика стала в июле 1958 года. И дело даже не в том, что я никогда не жил в национальных округах или республиках, а в том, что я считаю себя русским бурят-монголом. По языку, месту рождения и менталитету.

Жили мы у самой монгольской границы. С малых лет я говорил на русско-украинском языке, видимо, суржике, бурятским языком овладел позже, когда попал в среду своих родственников. О том, кто, как и когда меня и моё поколение учил языкам, можно прочитать в материале «Судьба человека...» в моем блоге.

О никаких расовых или национальных проблемах я никогда не знал и даже не чувствовал их. Бытовое невежество, приводящее к ссорам и дракам, можно вообще не считать национальной враждой. Среда у нас была одна – Союз Советских Социалистических Республик, где все, кто был знаком со мной, считали меня русскоязычным поэтом и прозаиком.

Стихи и рассказы я писал с младших классов.

Отслужив срочную службу в июне 1975 года, я подал документы на филологическое отделение педагогического института. И к своему удивлению узнал, что нерусские ребята, живущие в национальных образованиях, при вступлении в ВУЗы пишут диктанты, а все остальные, в число которых входил и я, – сочинения. Никогда не интересовавшийся национальными вопросами, я был потрясен таким неравенством.

Конечно, я писал на русском языке лучше всех своих сверстников, побеждал на многих конкурсах, уже публиковался в какой-то периодике. И никогда не думал о том, что кому-то предназначено писать диктанты, а кто-то обязан заниматься сочинением. В этом вопросе для меня все люди были равными. Но оказалось, что это совсем не так. Оказалось, что большая часть моих сверстников и земляков очень плохо знает русский язык, что государство буквально «тянет» их чёрт знает куда. «Халява», которую давало государство нерусским народам никогда не приведёт к знаниям, образованию и культуре. Тогда у меня впервые зародилась мысль, что национальные образования из территорий сохранения самобытности народов становятся территориями задержки развития человека... Но кто бы понял тогда и поймёт сейчас эту «преступную» мысль?

Я всегда считал, что никого не надо учить. Кто захочет, тот всегда научится. А тут учили и заставляли учиться. И давали за это дипломы. Но многие из обучаемых не могли написать даже диктанта.

Этот факт стал моим первым шагом к фрилансу.

Очень быстро я стал писать диктанты за своих земляков, якутов, тувинцев, бурят. И почти всегда получал отличные оценки. Появились первые заработки.

Ещё через полтора года мне разрешили свободное посещение в институте, к этому времени я работал в институтской малотиражке, получал зарплату. И азартно занимался фрилансом: писал курсовые, рефераты. Теперь уже не только за нерусских сверстников, а за всех, кто заказывал. Дело не в том, что жадничал и зарабатывал деньги, а в том, что я жадно познавал и наполнял себя информацией, занимался литературой, историей, другими науками. Непрерывно, днями и ночами. Деньги, конечно, платили. Но, кроме того, имея свободное посещение, выпуская газету, я ещё работал в речном порту, где ночами, в каюте какого-нибудь судна, обложенный книгами, размышлял над очередным рефератом. А иногда, озаренный какой-то вспышкой или лунной дорожкой на волнах Амура, лихорадочно набрасывал стихи.

Три момента, о которых написал в начале, не только определили мою судьбу, они корректировали и направляли меня всю жизнь: свобода выбора, отсутствие предрассудков, следование призванию. Ничем иным, кроме литературного, а иногда физического, труда, на хлеб насыщенный я не зарабатывал.

В 1977 году я был занят неологизмами в творчестве современных поэтов, а фриланс мой поднялся до уровня кандидатской диссертации. И тут надо было решать...

В одном из постов я допустил бестактность, вернее – оплошность, написав о не вполне развитой части человечества. Извиняюсь и исправляю: человечество никогда не будет вполне развитым. Не зря говорится, если бросить пить, то, как потом жить без мечты?

Итак, я остановился на моём фрилансе образца 1977 года, когда я делал работу уровня кандидатской диссертации. И надо было решать проблему.

(Попутно о мастерство: видите в предложении два «у» – работу уровня? Таких сочетаний фонем желательно не допускать. А вот три «и» – **извиняюсь и исправлю**, возможно, звучат симпатично, к тому же «ь» усиливает извинение). Вообще, звуки, буквы, слова, предложения надо перекачивать во рту, на языке. Это мои личные наблюдения.

Проблема заключалась в свободном посещении занятий. Есть такой вариант обучения. Для этого нужны два условия: студент должен быть отличником и писать научную работу. Первым я был, это не трудно, но обязывает, ибо человеку прививают «звёздную болезнь и вирус пятёрки». Состояние для меня мучительное. Никому не рекомендую. Для того, чтобы показать в ректорате свою научную работу и получить долгожданное свободное посещение занятий, я отказал заказчику, а начатую работу предоставил в ректорат. Так я стал свободным студентом, что очень быстро испортило меня: не стало главного – системности.

Естественно, работу заказчика я переделал, сдал, помог найти ему оппонентов, он защитился. А я бросил учёбу и отправился в своё первое «автономное плавание» в океане жизни, думая попасть на Сахалин, где можно было заработать во время путины.

Но мой приятель Сергей К, писавший неплохие стихи и учившийся заочно на истфаке, звал меня учительствовать в деревню. Почему-то он был уверен в моём «большом» будущем, а я вообще не думал об этом. Уверенность его подкрепили поэты и прозаики, которым понравились мои стихи на каком-то творческом вечере. В те годы практиковались выезды писательских бригад и литературные мероприятия. У нас были «Огни БАМа». В памяти моей остались фамилии – Виктор Коротаяев, Виктор Вучетич, Ольшанский (не помню имени, по-моему, писателей с такой фамилией несколько).

Отец Сергея К. был кандидатом филологических наук и тоже был уверен в моём будущем, которого я даже не представлял.

Сергей договорился в РОНО одного из районов, и мы с ним стали воспитателями в живописном пионерском лагере, куда, кстати, приехали на практику некоторые мои однокурсники, которые передали мне, что в ректорате и деканате весьма озабочены моим будущим. Но почему меня не беспокоило моё будущее? Более всего меня тревожило отсутствие системы, из которой я добровольно выпал. А потому я обязан был создать для себя собственную систему образования, которая рано или поздно выработает свой метод. А метод – это всё. Такая мечта была главнее дум о будущем...

Осенью мы отправились в школу. 1 сентября 1978 года запомнилось мне тем, что «сельская интеллигенция» и колхозное начальство обильно выпивали в колхозной столовой и желали самим себе успешного учебного года и трудовых успехов. Это были симпатичные и хорошие люди. Но именно с той поры я понял, что даже маленький коллектив делится на несколько противоборствующих групп. Всякий талант должен избегать коллектива, если он только не самоубийца.

Вернёмся к расовым и национальным вопросам, решение которых зависит от места проживания. Сергей К. был женат на моей землячке, Саше, в которой явно проглядывали монголоидные черты её предков. Была она конопатой, весёлой и симпатичной девушкой. Но русской она могла быть в родном Забайкалье, а в полу-украинском селе Сашу считали моей родной сестрой, буряткой, каковой, наверное, и была её далёкая прародительница. На известном нам расстоянии, километров на триста во все стороны, не было ни одного нерусского человека. И ни одного враждебного взгляда на этом пространстве мы не заметили, кроме обыкновенного любопытства, присущего всем людям. Владимир Ильич Ленин, как всегда, прав: по части русскости пересаливают нерусские люди, на определённом этапе истории оказавшиеся русскими. Ведь «русский» – не только национальность, но и определение, приложение, причастие, прилагательное.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.